

## ИЗ БИОГРАФИИ В. С. ПЕЧЕРИНА

Сообщение А. Сабурова

В. С. Печерин, его личность и его творчество, его жизненный путь заслуживают самого пристального внимания исследователя. Это была чрезвычайно своеобразная фигура, отличавшаяся исключительной идейной насыщенностью, со своим, крайне индивидуальным путем идейного развития. Вся его жизнь — непрерывный ряд душевных и житейских конфликтов с собою, с окружающим миром, — конфликтов, сопровождавшихся постоянным внутренним разладом и завершавшихся бегством из одного окружения, из одной среды в другую. Печерин — постоянный беглец. В юности, порвав всякие связи с семьей, он из глухой провинции прибыл в Петербург незадолго до 14 декабря 1825 г. Проведя короткое время в мелкой чиновничьей среде, он порвал с ней всякие связи и «бросился в казеннокоштные студенты». Окончив университет в 1831 г., он рвется за границу, в чудный, неведомый край, о котором привык мечтать под обаянием шиллеровской лирики. В 1833—35 гг. он за границей, в Берлине, где должен приготовиться к профессорскому званию. Однако, германская наука не дала прямого ответа на его запросы и стремления. За эти два с небольшим года он дважды бежит в Швейцарию и Италию, стремясь разрешить свои растущие душевные тревоги. Революционные идеи, мысли о разрушении старого мира в эти годы всецело овладевают его волей и сознанием. Но при этом он остается одиноким мятежником, не видящим перед собою прямого пути. Ко времени возвращения в Россию его внутренний разлад обостряется до крайности. Он возвращается с чувством полной непримиримости к оседлому пребыванию на профессорской кафедре и с первых же дней копит деньги для вторичного и окончательного бегства. Летом 1836 г. он вновь за границей — уже навсегда. Он возобновляет попытки завязать связи с швейцарскими и итальянскими революционерами, предпринимая им еще в 1834 г., пытается обосноваться в Лугано, в Цюрихе, но вскоре, из-за полного безденежья с перспективой долговой тюрьмы, бежит из Цюриха, где ему не удалось осуществить свои тайные намерения, заставившие его бежать из России. Через несколько лет пора нищенства и скитаний, сопровождавшаяся чередованием самых разнообразных профессий, сменилась внезапным разрывом всех прежних демократических и революционных связей, полным изменением всей идейной и практической ориентации, и недавний протестант, замышлявший возглавить борьбу за всемирное разрушение, становится католическим монахом, а затем патером-миссионером ордена редемптористов (1840 г.). Но это было не последнее его превращение. Менее чем через 10 лет оживает в Печерине чувство внутреннего разлада, перерастающее в сознание полной личной катастрофы. В течение 50-х годов, в период блестящей миссионерской деятельности, стяжавшей ему самую широкую известность в католическом мире, зреет в нем твердое решение порвать с монастырем, уйти из католического окружения. И вот, когда, вызванный в Рим в 1859 г., он был поставлен перед перспективой блестящей карьеры, но ценою отказа от личных убеждений, непримлемых для католической иерархии, он решительно разрывает новый узел противоречий и бежит из Рима с таким же чувством, с каким двадцать три года тому назад он бежал из России. Два года спустя Печерин уходит из монастыря, и начинается его совершенно одинокая жизнь, посвященная исключительно умственным интересам. Он превращается из ревностного монаха-миссионера в активного атеиста, в течение десяти лет готовит огромный ученый труд в обоснование атеизма, возобновляет свои русские связи и пишет мемуары, которые по своей идей-

ной направленности были проповедью атеизма. Умственная деятельность Печерина 60-х—70-х годов — это полная и решительная ревизия романтического идеализма, который был основой его идейных интересов и поведения в 30-х годах и который послужил почвой для его превращения в католического монаха.

Первым из русских людей, к кому обратился Печерин после разрыва с монастырем, был Герцен. Герцен не был знаком с Печериным до эмиграции. Первая встреча между ними состоялась в 1853 г. в монастыре С.-Мери Чепель в Клапаме близ Лондона. Этой встрече посвящена особая глава «Былого и дум». Вслед за двукратным посещением Герцена Печерин обменялся с ним несколькими письмами, которые Герцен приложил к рассказу о своем свидании с ним. В 1861 г. в «Полярной Звезде»<sup>1</sup> и в «Русской потаенной литературе»<sup>2</sup> была напечатана поэма Печерина «Торжество смерти»<sup>3</sup>, а год спустя Печерин после выхода из монастыря возобновил свою переписку с Герценом. В 1863 г. он обменялся несколькими письмами с Огаревым<sup>4</sup>. Такова несложная история внешних отношений Герцена и Печерина. Внутреннее содержание их, однако, несравненно серьезнее, чем можно предположить по этому краткому перечню. Их встреча и переписка отличались глубокой полемичностью, свойственной обоим и объясняющейся огромной силой личного убеждения, отличавшей не только Герцена, но и Печерина на всех этапах его противоречивого жизненного пути.

Герцен, будучи в Лондоне в 1853 г., не предполагал завязывать с Печериным серьезные идейные связи: он навестил его как эмигранта, как соотечественника, с которым его могли связывать общие воспоминания — прошлое, а не настоящее, чувства, а не мысль, личные симпатии, а не деятельность. Для Герцена Печерин был человеком из иного стана — из стана «победителей», а не «побежденных». Но у Печерина в эти годы назревал глубокий внутренний перелом, он рвался к мысли, перед ним заново вставали тревожные вопросы, от которых он отвернулся тринадцать лет тому назад. Встреча с Герценом была для него тревожным событием, всколыхнувшим заглушенные мысли. Он не удовлетворился посещением Герцена и послал ему письмо, вызывавшее на обмен мнений. Но для Герцена с его решительной политической принципиальностью не могло быть двух мнений. Приняв вызов Печерина, он отказался от ложной деликатности и всей силой своего красноречия обрушился на религиозные заявления своего корреспондента. Письма Герцена к Печерину — блестящие образцы его критической мысли, яркие страницы его беспощадной революционной диалектики. Составив представление о Печерине как о «иезуите», Герцен до конца не изменил своего мнения о нем. С той же полемичностью и непримиримостью встретил он и в 1862 г. его попытку возобновить переписку. На обращение Печерина, сопровождавшего свои письма денежными взносами в фонд «Колокола», Герцен реагировал крайне скупой или отмалчивался, попрежнему считая его «иезуитом», с которым у него не может быть ничего общего.

Помимо самой переписки Печерина с Герценом, связь между ними имеет несомненно большое значение. Так, например, следует думать, что именно Герцен был для Достоевского проводником сведений о Печерине. А это тем более интересно, так как личность Печерина отразилась на важнейших образах романов Достоевского, начиная с конца 60-х годов. Поэма Печерина «Торжество смерти», буквально воспроизведенная в «Бесах», несомненно стала известна Достоевскому со слов Герцена, издавшего ее всего за год до встречи с ним, — недаром Достоевскому удалось схватить такие существенные детали, как например то, что поэма эта была напечатана «там, то-есть за границей, в одном из революционных сборников и совершенно без ведома Степана Трофимовича». Встреча Достоевского и Герцена состоялась как раз в период второго тура переписки Герцена с Печериным. Письма Печерина к Герцену относятся к маю и августу 1862 г., а посещения Герцена Достоевским — к июлю и октябрю 1862 г. Сочетание этих хронологических дат убедительно отвечает на вопрос, возникающий при сопоставлении жизни и литературных опытов Печерина с творчеством Достоевского — откуда Достоевский почерпнул первоначальные сведения об этом мало известном в 60-х годах русском эмигранте-католике, который вскоре потом заявил себя решительным безбожником.

Публикуемый здесь документ относится к одному из наиболее интересных периодов в жизни Печерина. Он уехал за границу летом 1836 г. с определенным намерением примкнуть к европейскому революционному движению, очаг которого находился в это время в Швейцарии. «Ты хорошо понимаешь, — писал он впоследствии Ф. В. Чижову, — что не слепой случай, а определенная политическая цель привела меня в Лугано» (мемуарный отрывок «Лугано и как я туда попал»). Еще в Москве он часто заходил в швейцарскую кондитерскую читать европейские газеты и жадно глотал встречавшиеся в них сведения о Маццини, организаторе «Молодой Европы». Печерин прожил в Швейцарии до мая 1838 г. Сначала его местопребыванием был Лугано, затем, с декабря 1836 г. — Цюрих, хотя он неоднократно выезжал из него и мы встречаем его в этот период и в Брюсселе и в Берне. Особенно важно то обстоятельство, что серьезных революционных связей за это время Печерин завязать не сумел и в числе своих знакомых-республиканцев не упоминает сколько-нибудь значительных лиц из представителей тогдашнего революционного движения. И вот, среди всякого рода разочарований и неудач, преследовавших Печерина с самого момента вступления его на почву Швейцарии, у него возникает совершенно фантастический, крайне нелепый проект, поражающий своей практической беспочвенностью. «Будучи в Цюрихе, — писал он впоследствии в своих мемуарах, — я предложил было нескольким русским ехать в Америку, и там основать образцовую русскую общину и издавать при ней русский журнал. Для этого предприятия у нас кое-чего недоставало, а именно: сметливости, предприимчивости и капитала! Excusez du peu!» (мемуарный отрывок «Льез (1838—1840)'). Сообщение это подтверждается замечанием в одном позднейшем письме Ф. В. Чижова к Печерину<sup>5</sup>, который напоминал своему другу, что он и его друзья составили целый план переселения в Америку и просил его рассказать об этом намерении поподробнее. Оценить стиль этого проекта можно только представив себе характер печеринских фантазий, которые сам он расценивал как политические планы. Наивная вера в собственное призвание, продиктовавшая ему дерзкие строки его поэмы «Вальдемар», романтическое увлечение идеей всемирного переворота, мечта о героическом подвиге, о борьбе с насилием и неправдой — все это вело не к практически обдуманной деятельности, а к смелым порывам, не к организованному сближению с людьми, а к предельному житейскому индивидуализму. Не имея никаких связей, никакого практического организационного опыта, Печерин с фанатической убежденностью говорил о себе:

Сам бог с младенчества меня избрал,  
 Да буду я вождем его народу:  
 Его десница привела меня  
 На стогны, в жизнь кипящую столицы;  
 Он дум божественных открыл мне тайны,  
 Мне очи прояснил, да вижу я  
 Неправды сильных, скорбь его народа  
 И переполненную меру зла...  
 Ринусь в дикое веков боренье!  
 Лавр меня победный обовьет;  
 Я паду — но песню искупленья  
 Надо мной столетье пропоет!

(«Вальдемар»)

Тот же мотив личного призвания, развивающийся на почве наивного романтического вдохновения, не уравновешенного мыслью и опытом, повторяется и в поэме «Торжество смерти».

Свобода и доблесть у всех на устах,  
 И песня лихая на звонких струнах.  
 И каждый орлиным полетом летит  
 И смело грядущему в очи глядит;  
 И к богу кричит: «Я не хуже тебя!  
 И мир перестрою по-своему я!».

Вдохновляемый своими грандиозными замыслами, Печерин неизбежно должен был запутаться в лабиринте житейской повседневности, как только сделал первый шаг к осуществлению своих намерений. Но возвращаться назад было не в его характере.

Первые четыре года пребывания его за границей характеризуются непрерывной сменой одних фантазий другими, причем некоторые из них восходили к самым душевным его мечтам о личном призвании.

Печерин в своих мемуарах очень метко охарактеризовал себя в этот период времени, сравнивая свои похождения с похождениями Дон-Кихота. Вот в этой-то связи, в цепи неожиданно возникавших донкихотовских фантазий, не имевших под собой никакой почвы и уступавших место другим, столь же неожиданным, столь же непрактичным, и возник проект основания «образцовой русской общины», известный ранее лишь по одному намеку в упомянутом выше мемуарном отрывке. Настоящее письмо, впервые раскрывая существо этого проекта, подтверждает характеристику, которую дал себе Печерин, сравнив себя с Дон-Кихотом. Это было не преддверие будущих демократических организаций, не первая, хотя и слабая попытка тайного политического союза, предвещающая организации 60-х годов, — это была любопытная русская робинзоида эпохи Кабэ и Фурье, говорящая о том, как глубоко идея Утопии проникла в умы русских людей 30-х годов. Останавливает на себе внимание прежде всего наименование этого «общества»; это — не революционно-политическое, не коммерческое или промышленное, нет, это — «поэтическое общество». Его задача — оторваться от привычного быта, расквитаться со всем грузом домашних впечатлений, воспоминаний и обычаев и начать жизнь своим личным трудом — «обрабатывать землю или заняться торговлей» и трудиться во имя «свободного книгопечатания». Последний штрих особенно усиливал в проекте Печерина черты донкихотства; свободное книгопечатание предшествует в программе широким организационным связям, а организационные связи исчерпываются десятком, другим знакомых по московскому и петербургскому университетам; естественно должен возникнуть вопрос: на кого же должно ориентироваться это свободное книгопечатание?

И однако фантазия эта в своем возникновении подчинялась некоторой закономерности. Путешествие в Америку, не как практически обдуманый и взвешенный план, а как своеобразный символ разрыва с прежней жизнью, не было случайным капризом фантазии одного Печерина. Типичность этого мотива подчеркнута в упомянутом выше романе Достоевского, — там, где говорится о путешествии в Америку Шатова и Кириллова, которые «отправились втроем на эмигрантском пароходе в Американские Штаты на последние деньжишки, чтобы испробовать на себе жизнь американского рабочего и, таким образом, личным примером проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении». И когда Шатов, пренебрежительно вспоминая этот эпизод своей жизни, охарактеризовал себя, Кириллова и подобных им словами: «люди их бумажки», — рассказчик отвечал твердой и решительной репликой: «Ну, однакож, переплывать океан на эмигрантском пароходе, в неизвестную землю, хотя бы с целью «узнать личным опытом» и т. д. — в этом ей-богу есть как-будто какая-то великодушная твердость...» (ч. I, гл. IV). Во всем поведении Печерина, бежавшего за границу и, без всяких средств, отдавшегося на произвол судьбы, была та же самая «великодушная твердость», чего не было у его корреспондента. Чижов и за себя и за своих друзей категорически отказался бросить насиженное местечко и отправиться странствовать, вверив свою судьбу неизвестности.

Публикуемое здесь письмо — черновик, написанный в первой половине 1838 г. Цюрихский период жизни Печерина, к которому относится американский проект, продолжался полтора года, с декабря 1836 г. по май 1838 г., а в конце письма говорится, что Чижов писал Печерину «весною прошедшего года». Этим «прошедшим годом» мог быть только 1837-й, так как Печерин уехал из России лишь 23 мая 1836 г. Таким образом, датировать это письмо удастся довольно точно. Особенно интересен адресат этого письма. Фамилия его устанавливается по упоминаемому выше позднему письму Чижова от 25 февраля 1871 г. Это некто Лахтин, по всем данным русский, посвященный в планы Печерина. К сожалению, никаких све-

дений о нем до настоящего времени собрать не удалось. Но самый факт, что Печерин пытался переписываться с друзьями через третье лицо, посвященное в его планы, заставляет предполагать какую-то конспирацию, наличие некоторых организационных начинаний. Черновик извлечен из архива Ф. В. Чижова, разбор которого далеко еще не закончен. Черновик находился среди ранних тетрадей дневника Чижова. Никаких аналогичных ему материалов обнаружить не удалось. Архив Чижова является важнейшим источником по изучению жизни Печерина. Переданный после смерти владельца в 1877 г. в Румянцевский музей, архив, согласно завещанию, только 40 лет спустя мог быть вскрыт и использован для изучения. Поэтому Гершензон в своих работах, касающихся Печерина, написанных и напечатанных до 1917 г., не мог использовать этого фонда.

Личность Печерина на основании знакомства с неопубликованными рукописными материалами выступает в новом свете. Печерин — не тот светлый идеалист-мечтатель, как изображал его Гершензон на всем жизненном пути от ранней юности до могилы. Это человек крайне тяжелых противоречий, особенно характерных для его времени. Исключительная одаренность ученого и мыслителя — и полная бесплодность всех начинаний; оригинальнейшие поэтические замыслы, тончайшие лирические и драматические импровизации — и полнейшая художественная бесформенность и неоконченность литературных опытов; благороднейшие гражданские стремления, сопровождаемые самой самоотверженной решимостью — и позорнейшая капитуляция; вечные скитания, искания и стремления, полная бескорытность всех побуждений и поступков — и решительное неумение найти применение своим силам и интересам; исключительная идейная насыщенность всей жизни на протяжении 60 лет сознательного существования — и полная безыдейность во все поворотные, решающие моменты жизни; полный скептицизм и атеизм последних лет — и образ жизни монаха и патера, оставляющего по себе память «назидательного благочестия» — таковы те чудовищные противоречия, совершенно бесплодные при исключительной личной одаренности, которыми так характерна и ценна для истории личность Печерина.

Сам Чижев, автор настоящего письма, заслуживает несравненно большего интереса, чем он пользовался до настоящего времени. Как и Печерин, он привлекает к себе исследователя все той же характерной противоречивостью жизненного пути. Математик, блестящий кандидат Петербургского университета, автор ряда печатных трудов, успешно читавший лекции студентам, он внезапно в 1840 г. бросает начатое поприще и начинает свои длительные заграничные скитания, становясь диллетантом-искусствоведом, обозревающим европейские галереи и снабжающим русские журналы более или менее талантливыми корреспонденциями. Внезапно увлекшись славянским движением, он бросает историю искусства так же, как и математику, но вскоре (в 1847 г.), при возвращении в Россию, его арестовывают на границе русские жандармы по доносу австрийского правительства. Вслед за тем Чижев всей душой отдается шелководству, которое ему удастся наладить в Киевской губернии, ставшей его вынужденным местопребыванием после освобождения из-под ареста. За шелководством начинается полоса бесконечных промышленных и организационных предприятий Чижева, и из недавнего лишнего человека, буквально осустествлявшего обломовское «утро» за десять лет до появления в печати первого отрывка гончаровского романа, он становится строителем железных дорог, организатором промышленных компаний, учредителем обществ, председателем банков, зачинателем северных промыслов, издателем журналов и т. д., неутомимо работающим круглый год по 15 часов в сутки, не оставляющим для своих личных нужд ничего из своих огромных доходов, кроме жалованья, полагающегося по штату.

Дружба Печерина с Чижевым была многолетняя. Она тянулась с самого начала 30-х годов до последних дней жизни Чижева, умершего в 1877 г. К Чижеву обращена главная часть последних корреспонденций Печерина и мемуарных отрывков. Со стороны Чижева он всегда пользовался самой высокой оценкой. Но в период, наступивший после его бегства из России и особенно после принятия католичества, Чижев резко и откровенно осуждал его. Имеется ряд интересных свидетельств самой беспощадной критики, которую встречал Печерин со стороны Чижева и его

друзей в начале 40-х годов. Это отразилось и на публикуемом письме. Правда, горячее дружеское чувство к Печерину все же прорывается в нем. Но текст его оказался результатом взаимодействия целого ряда самых противоречивых побуждений.

Письмо написано под впечатлением нескрываемого испуга. В этом отношении интересен как окончательный его текст, так и первоначальные зачеркнутые редакции. Сличение тех и других показывает, что Чижев боролся между личным влечением к потерянному другу и осуждением избранного им пути, но над тем и другим довлел страх быть привлеченным к ответу за связь с беглецом и участие в его секретных намерениях. Он не успевает написать: «священное для меня» чувство дружбы Печерина, как пугается написанного и зачеркивает опасные слова. Он не хочет скрывать, что его ставит в затруднительное положение не предложение Печерина само по себе, но письмо, как таковое, и мысль о том, что ему делать с письмами такого рода. И вот он решается, делая вид, что отвечает с максимальным беспристрастием, говорить так, чтобы его письмо послужило не столько ответом Печерину, сколько тому агенту III Отделения, которому оно может попасться. И начинается очень прозрачная попытка одурачить предполагаемого перлюстратора, который как бы узнает из вскрытого им письма, что адресат Печерина не только не заговорщик, а самый верноподданный сын отечества, и что он не донес правительству о печеринских письмах только потому, что все это дело никак не относится к благосостоянию России и вообще не касается правительства, ибо все предприятие Печерина — всего лишь игра юного пылкого воображения. Сам Чижев рисует в этом письме далеко не в тех подлинных чертах, которые выясняются по его неопубликованным дневникам. Чижеву были свойственны бунтарские взгляды и настроения. Вот, например, характерная запись его дневника, сделанная в то время, когда он впервые читал памфлет Ламеннэ, сыгравший огромную роль в формировании взглядов Печерина, и делал из него выписки. Услышав один рассказ о том, как Николай I безуспешно пытался подвергнуть строгому административному взысканию профессора медицины Хотовицкого, не явившегося по зову его камердинера, Чижев восклицает: «Дай бог побольше таких вещей, авось-либо понакопится, авось и мы услышим, когда к чорту пойдут эти [sic!] императорские короны с их венчанными главами».

Однако, если письмо в целом и ориентировано на перлюстрацию, оно не теряет своего исторического интереса. Оно является ярким документом, отражающим колебания людей 30-х годов, стоявших на перепутье между смелыми дерзаниями и спокойным, обеспеченным пребыванием в привычной колее, проторенной предшествующими поколениями.

Публикуем письмо по черновику, хранящемуся во Всесоюзной библиотеке им. В. И. Ленина, с сохранением основных орфографических особенностей оригинала.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> 1861 г., № 6, стр. 172—192.

<sup>2</sup> 1861 г., стр. 308—332. В 1874 г. эта поэма была напечатана в «Лютне» (Лейпциг), стр. 322—342.

<sup>3</sup> Под таким названием эта поэма известна в литературе. Печерин в одном из неопубликованных писем к Ф. В. Чижеву говорит, что ее настоящее название «Potrouiti или чего хочешь, того просишь».

<sup>4</sup> Переписка Печерина с Герценом и Огаревым 1862 и 1863 гг. готовится к печати Государственным литературным музеем по фотокопиям, снятым с подлинников, хранящихся в Русском историческом архиве в Праге. Ранее печаталась в зарубежных журналах: «Jahrbuch f. Kult. u. Gesch. d. Slav.», Bd. IX, H. IV, 1933, стр. 508—517 и «Путь», №№ 47—48, стр. 41—50. Письмо Огарева к Печерину от 29 марта 1863 г. напечатано в «Звеньях», сб. 6, стр. 380—383.

<sup>5</sup> Из неопубликованных материалов, хранящихся в архиве Института литературы Академии Наук СССР.

## Милостивый государь!

Если бы письмо Ваше не было столь важно, если бы я не полагал, что я введу Вас в сомнение моим молчанием и, наконец, если бы поводом к нему не было [священное для меня] чувство дружбы Печерина, — я бы не решился Вам отвечать на него. Не буду скрывать, [что] оно меня поставило в самое затруднительное положение, — я не говорю о [Вашем] переданном Вами предложении Печерина; но [о том, что я должен делать с письмом такого рода] самым письме Печерина. Я [его] знаю давно, читаю [его] янее нежели он сам себя и для меня не странно подобное предложение с его стороны и подобное предприятие особенно при его настоящих обстоятельствах<sup>1</sup>. Не желая приобретать незаслуженного уважения [ни выиграть в мнении людей] я считаю как бы обязанностью высказать вам полную исповедь чувств [и мыслей] наполнивших [меня при] меня при чтении письма Вашего и писем Печерина<sup>2</sup>, и мыслей, которые гнали одна другую, и, наконец, чтоб Вам понятны были и те и другие, — я [без Вашего позволения] выскажу Вам быт мой и [всех] тех людей, которых имена входят в письмо Печерина.

Мне предлагает он, хотя не прямо, оставить отечество и переселиться в Северо-западную Америку, — там [основа] поселиться и жить для чего? для прекрасной цели составить новое, юное, живое, поэтическое общество, — прекрасно; но какую же роль [буду] могу играть я в этой поэтической фантазии? Характер счетчика или дряхлого, больного человека, казалось мне, вовсе не шел к романтической [пиесе] картине, написанной такими живыми красками, он, по моему понятию об изящном, мешал бы единству фантазии. Вот первая мысль, какая родилась, когда я мельком пробежал и Ваше и его письма; но потом вижу записку о колониях, читаю еще раз письма и, наконец, понимаю, что это не шалость и не мистификация Печерина, желающего доставить мне сюжет для журнальной повести. Не говорю о самом предприятии, и его подробностях, предположим, что я не могу понять его, что почему бы то ни было я не понимаю и что оно не есть бредни пылкого воображения Печерина. Ему можно согласиться на все и предпринимать все, что ни придет в голову, он поставил себя в такое положение, в котором, как в воде, чтобы спасти(сь), хватаешься за все. Но вопрос, к чему мне [не только] предпринимать подобные путешествия, и с чего придет мне это в голову? Впрочем еще раз предприятие это для меня дело решенное; ошибаюсь ли я или нет, но я и до сих пор всетаки убежден, что он и Вам рассказывал и мне писал, в одну из тех бессонных ночей, в которые природа берет свое и [награждает нас снами] если уже не может принудить нас спать, по крайней мере заставит грезить с открытыми глазами. Я все отвлекаюсь от главного дела, Ваших писем, они [мне важн] самый важный факт в настоящем положении дела: — Вот уже более трех писем получаю я от него, самого странного содержания, цель их для меня не понятна, если они пишутся с целью, — чего, благодаря сохранившемуся чувству прежней нашей дружбы, я ему не приписываю. К чему, писав подобные вещи, наводить на меня подозрение правительства и людей, с которыми я слился совершенно. Признаюсь Вам, — [не будь] первая мысль, мелькнувшая в голове моей, была представить эти письма правительству; но минуты через две я сам постыдился ее. Будь это какое-нибудь дело, сколько-нибудь относящееся к благосостоянию России, или даже касающееся сколько-нибудь правительств, я бы не колебался ни минуты. Пускай свет меня щитает, чем хочет, лишь бы я был чист пред самим мною, — вот девиз мой, — это заставило бы меня представить письма, еслиб они были другого содержания, — это остановило меня теперь, когда я увидел в предприятии

Печерина шалость осемнадцатилетнего молодого человека<sup>3</sup>, увлекшего за рюмкой вина 5 или 10 молодых людей ему подобных. Представить письма значило бы навлечь на них подозрение, тем еще более, что [этому подозрению, могло] обстоятельства как будто бы нарочно скопились, чтобы увеличить такого рода подозрение. Я был в университете в то самое время, когда [одно начало] новая французская школа свирепствовала во всей Европе. То же начало, какое явилось в уродливых романах Занд, Сю и Бальзака<sup>4</sup>, в фантастических характерах Тренмора, Сафи и героя — *la peau de chagrin*<sup>5</sup>, должно было непременно явиться и в действительной жизни. К нещастию мы подпали под эту струю истории и заплатили дань времени; многие из моих товарищей сформировались по образцам героев французских романов, как это бывало и всегда, [и не] обстоятельства помогли им увлечься еще более, и самоубийство двух — Попова и Калмыкова<sup>6</sup>, — неслыханные скверности одного — Александрова, и поэтическое заблуждение Печерина были данью этому времени. Не могу вам сказать, что спасло меня, может быть, мои положительные занятия науками математическими<sup>7</sup>, может быть, бездарность, а всего вероятнее, — то, что, имея одного идола, я не мог уже служить другому. Я получил воспитание на руках матери, все, что имею в нравственном быту ее, — все передала мне она, — и, вам покажется может быть смешно, я стался ей безусловно: нет чувства, в котором она не была бы первым действующим лицом; нет мысли, в [произведении] рождении которой она бы не участвовала, нет факта, — где бы она не была первою [побуд] пружиной. После нее всем обязан я [правительству] моему отечеству, — не любить его, значило бы не любить моей матери, не любить ее и не жить для меня одно и то же. Мать моя предана России, я предан ей совершенно. Вот Вам данные в отношении ко мне — из них уже легко вывести результаты. Живя уединенно, посвящая три четверти дня изучению человечества и современных понятий в различных формах, я ознакомился с идеями Европы, я ими не увлекался<sup>8</sup>. Печерин, как и многие, знают Россию по наслышке, я знаю ее собственными глазами и [свобода книгопечатания не владеет потому] нахожу, что, не выезжая из нее, можно найти все элементы жизни. Быт литературный существует для нас, точно так же, как и для нового фантастического общества, — [мы не имеем свободного книгопечатания; но, признаюсь, не знаю я, будет ли оно свободно там, где немного останется времени, чтоб и читать, не только писать и печатать] свобода? для меня она существует и здесь, — привыкнув с детства жить в том обществе, в каком живу и теперь, я, право, чистосердечно Вам говорю, не вздыхаю ни о какой свободе, особливо о той, с которою соединена потеря всего, составляющего и нравственную и физическую жизнь мою.

[Кроме того, что Печерин ставит своим письмом в затруднительное положение меня, он не менее]

Я с намерением передаю Вам мой быт и мои понятия, — чтоб показать, как вредны для меня письма Печерина, — и я повторю Вам еще раз, что я не представляю их правительству, единственно из полного убеждения в ничтожности предприятия и из полной уверенности, что оно [есть] ни больше ни меньше как игра юного пылкого воображения. К тому же мне еще жаль, что в письмах упомянуты имена многих особ<sup>9</sup>, на которых [правительство] они тоже могли бы [нагнать] навлечь подозрение. Ни одному из них не покажу я ни Вашего, ни Печеринского письма, — они останутся между мною и Вами [я бы даже сжег их, если б был уверен] К Печерину я не могу отвечать ничего, перепискою с ним я мог бы [навес] компроментировать [sic] себя, тем более что и нечего мне написать к нему утешительного. Не думаю, чтобы отец<sup>10</sup>



его согласился дать ему что-либо. Он всю свою жизнь посвятил на службу отечеству, — [как же ему] вы можете судить, как смотрит он на сына, добровольно отказавшегося и от отечества, и от него, и от матери <sup>11</sup>, — согласитесь, что, судя по человечески, нельзя требовать, чтоб он дал что-нибудь своему сыну. Впрочем нынче летом я надеюсь быть в Крыму, там я верно увижу [Печерина отца, — Адрес его 14-й пехотный п] его, поговорю с ним и тогда буду писать к Печерину, — до той поры, если Вы с ним ведете переписку, потрудитесь послать ему это письмо. Мне горько думать, что, может быть, различие наших понятий, разорвет узы нашей дружбы; — но я [говорю и] [готов с] говорю [и] ему и [готов] скажу каждому, что я готов пожертвовать всеми узами прежде, нежели решусь действовать, даже думать что-либо, [против] могущее отделить меня от моего отечества, в котором только я и могу найти все элементы жизни и нигде больше.

Я было кончил письмо мое, но еще раз прочел Ваше, — [тон его и выражение уважения, о котором Вы говорите, заставляют меня не смотря на затруднительное положение в] и мне совестно, что, увлекшись моим положением, я несколько резко отвечал на [такое дружеское предложение] него. Не хочу переменить моего ответа, он [будет Вам] даст Вам понятие обо мне более, нежели [что либ] всякое обдуманное письмо. Вы увидите из него, как я принимаю вещи в первую минуту, как настроены мои чувства, — не забудьте — главные правители воли; [теперь позвольте мне. Но в отв] До сих пор я смотрел на предприятие Печерина просто как на безрассудное, — видя из тону Вашего письма, что Вы не одобряете его, — я [уже не имею права] считаю обязанностию [дать отчет] показать Вам причины, почему я принимаю это так, а не иначе.

Согласитесь, что и чувства, и понятия каждого есть результат его индивидуального существования, его воспитания, положения в обществе и вообще всех окружающих обстоятельств. Кто из немцев не согласится, что гостеприимство есть одна из высоких добродетелей, но заставьте немца быть гостеприимным, — и между тем это несколько не мешает всем прекрасным чертам его характера. [После этого] Я, как уже и говорил Вам, воспитан в России, нет у меня ни воспоминания, [которое бы не соединялось с тысячами в] которое бы [Россия] не соединялось с понятием о русском, [нет настоящего наслаждения] нет надежды, [которая бы не вылу [?] которая и] не основанной на русском быте, да и не может быть, — для лучей ее, одна только существует призма, призма прошедшего и настоящего, следовательно, всего русского. Это одно невольно сливает мою будущность с моим отечеством. Далее, по моему настоящему положению в России я так хорошо обставлен, [как нигде не могу быть] что мне трудно и даже невозможно было бы найти подобной обстановки. Теперь я получаю от службы до 3000 рублей, при небольших трудах, приносящих мне наслаждение, — [от] журнальная работа и вообще труды литератур <sup>12</sup> дают мне около 4000, — всего 7000, доход даже избыточный для одинокого человека, ведущего жизнь самую уединенную. Надежда в будущем — полное обеспечение и меня, и моего семейства, — я не говорю уже Вам о том еще, что по убеждению моему нигде я не буду поставлен так на своем месте, как здесь. Занимаясь с любовью наукою в моем кабинете, я хожу в университет, только как бы для отдыха, — дружески беседовать с студентами о том, что я делаю, и передавать им плоды трудов моих. Сыщите, если можете, положение, — которое было бы лучше моего. [я говорю ни] Теперь приезжаю я в Америку, я должен бросить все и обрабатывать землю или заняться торговлею, — ни в том, ни в другом

роде занятий я ни на грош не смыслю, и вместо спокойных занятий кабинетных трудиться целый день за что же? [чтобы] как я могу судить из вашего письма, [приобрести] более всего за свободное книгопечатание. Во-первых, вы на меня не сердитесь, при этом у меня невольно родится [смешная] мысль, да для чего же мне тогда оно, [когда я цел] целый день проработал за сохою, — не только писать да и читать [будет] уже не захочется, особливо мне, в жилах которого лениво течет кровь славянская. [Оставя] Потом, оставя шутки, я скажу Вам, — для чего мы пишем, и для чего печатаем? чтоб передать наши понятия другим, чтоб ими поделиться. Скажите, могу ли я делиться с людьми, для которых уже и Западная Европа — обветшала старушка? и что я скажу им такого, что бы не было для них старо и пошло? Между тем как здесь я еще много, или, по крайней мере, многим, могу сказать новое, — [могу передать какую-либо, мало этого могу полюбоваться, как усвоится эта новость и пр.] я могу делиться с ними моими чувствами и встретить отголосок в их собственных чувствах, — мы не обогнали друг друга целыми столетиями, мы пойдем один другого, — поэтому здесь только и нигде больше может существовать для меня действительность литературная. В страдательном же литературном существовании, т. е. в приемлемости чужих понятий, я ничего здесь не теряю, — мне, как члену университета, позволено и получать и читать все книги без цензуры. Наша цензура меня, [говоря не] — принимайте как хотите, но я говорю вам чистосердечно, вовсе не по внушению обстоятельств, — наша цензура меня нисколько не сковывает, — я пишу для всех, эти все у нас чрезвычайно различны, [я не знаю] часто, очень часто, я могу не знать ни степени их понятия об излагаемом мною предмете, ни их требования, — что же выйдет из того, если бы я передал им и прекрасные понятия, но не соответствующие им вовсе — или бы они меня не поняли, или бы поняли превратно, — ни то, ни другое неприятно для человека благонамеренного, — и от того, и от другого избавляет меня наша цензура. Согласен, что часто эти люди, которые назначены быть посредниками между людьми пишущими и требованием страны, не понимают своего назначения, — да где же этого нет? И не смешно ли бы было, если б 10, 20 злоупотреблений заставили меня переменить и убеждение и вооружиться против страны, которой я обязан всем, за то что из моего сочинения вычеркнули несколько строк. Часто это выведет из себя, это горько, сильно горько, но виноваты люди, а не страна, а люди везде люди. Сколько могу я сообразить, Печерин, верно, говорил о всех лицах, упомянутых в письме его, — если Вы судите о них по словам его, позвольте Вас вывести из заблуждения, — поверьте, что их понятия [и их] и чувства, все [перелились] перешли сквозь призму поэтического воображения Печерина, и до вас дошли уже лучи преломленные, раскрашенные, — вот истинный белый цвет их: [Docteur Noir] Жобар, — это Гебгардт,<sup>13</sup> человек служащий в иностранной коллегии, [имеющий в виду] сын генерал-майора Гебгардта, [человек] отец его имеет здесь дом, пользуется общим уважением, — [что] сын умный и притом очень расчетливый человек, — ему надобно сойти с ума, чтоб променять [жизнь, обещает уже] быт обеспеченный в настоящем, представляющий будущее, — бог знает на какое-то поэтическое существование, [прекрасное в воображении, которое по глупому устройству головы по положению его в черепном] даже и в воображении поэта не [обрисо] обставленное теми удобствами, каким он пользуется в действительности. Docteur Noir [это доктор Иноземцев<sup>14</sup>, профессор Московского университета] — это доктор Иноземцев<sup>14</sup>, Редкин<sup>15</sup>, Крюков<sup>16</sup>, Барцев<sup>17</sup> — все это люди приобретшие [уже] здесь собственное уважение, некоторые уже женатые,

все они, благодаря правительству, живут хорошо, — благодаря своим благонамеренным целям и понятиям о человечестве, несколько отличным от понятий Печерина, — [наслажд дыш] живут в дружбе с собственным убеждением.

Жаль мне, что я потерял или может быть и не оставил у себя все, копии с письма, писанного мною к Печерину весною прошедшего года и посланного чрез мое начальство, — [в нем я пишу] и еще более жаль, что он, кажется, не получил его, — там, кажется, я ему ясно высказал настоящие наши отношения, и показал, что все отношения между нами [могли бы] должны были бы ограничиться его личным существованием. Он может быть мне врагом, [потому что он] как Русскому, врагом как егоист все меряющий собственным положением; но а я не могу отвыкнуть любить моего Woldemar'a<sup>18</sup>. Денег от отца его я [надеялся] получил 400 рублей; [но на расписке я] которые и послал ему сполна, — может быть ничтожную [вещь] сумму придется получить из Энциклоп. словаря<sup>19</sup>, но во-первых это безделица, — во-вторых, и послать я не имею права, без позволения, которого не могу просить, не компрометируя себя в глазах правительства.

### ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> «Настоящие обстоятельства» Печерина — крайние денежные затруднения, о которых он сообщил Чижову в конце 1836 и в 1837 гг., умоляя о помощи.

<sup>2</sup> После своего бегства из России Печерин писал Чижову неоднократно. В архиве Чижова сохранилось несколько из этих писем 1836—37 гг.: от 9/21 декабря 1836 г. из Лугано, в котором упоминаются, повидимому, утраченные письма от 9 и 16 ноября н. ст., отправленные из Италии; от 15/27 декабря 1836 г., также из Лугано, и от 18 июня 1837 г. из Цюриха, где Печерин спрашивает, получил ли Чижов его письмо от 2 июня, которое также до настоящего времени не найдено. Из письма от 18 июня 1837 г. видно, что Чижов писал Печерину 23 ноября 1836 г. Письма Чижова к Печерину этого времени не сохранились. Письмо Печерина к Чижову от 2 июня 1837 г. содержало в себе какое-то важное предложение. По его словам, это был для него вопрос «быть или не быть», сделать дело своей жизни или «умереть, оставивши после себя неразгаданную загадку». По этому делу Печерин просил Чижова посоветоваться с Жебаром, т. е. Гебардтом, членом университетского кружка А. В. Никитенко.

<sup>3</sup> Печерину было в это время 30 лет.

<sup>4</sup> Любопытно, что Печерин, неоднократно упоминавший об огромном значении, которое имела для формирования его взглядов Ж. Санд, ни разу не ссылается на Бальзака, которого он не мог не знать. Следует думать, что натуралистический характер не только поэтики, но и творческого мышления знаменитого французского романиста был ему настолько чужд, что он не мог чувствовать внутренней связи с ним. В высказанных здесь суждениях Чижова о влиянии Сю и Бальзака на Печерина, несомненно, большая натяжка. Сам же он вовсе не относился отрицательно к творчеству названных писателей, которых не раз сочувственно цитировал в своем дневнике.

<sup>5</sup> Тренмор Вальмарно — один из главных героев романа Ж. Санд «Лелия», писавшегося в 1832—1833 гг. и имевшего большое влияние на Печерина. История Лелии, — страстные искания восторженной героини, завершившиеся ее уходом в монастырь с самым строгим уставом и приведшие ее к полной катастрофе, — несомненно отразилась на биографии Печерина. Цитируя строки этого романа, он неоднократно говорил, что его идеалом было всегда «*Régner par l'esprit sur les esprits, par le coeur sur les coeurs*»\*. Фигура Тренмора исключительно характерна для Ж. Санд. Бывший развратник, убийца своей возлюбленной, каторжник, он оказывается впоследствии другом человечества, стоящим во главе таинственной ложи карбонариев, задача которой — спасти свою любимую родину. Но руководимое им тайное общество раскрывается, и Тренмору приходится бежать. Похоронив Лелию и потеряв своих друзей, он с посохом в руках отправляется странствовать.

Рафаэль, герой повести Бальзака «Шагреневая кожа».

<sup>6</sup> О самоубийстве Петра Попова, учителя Пажеского корпуса и I гимназии, застрелившегося 23 лет 23 сентября 1832 г., имеется подробный рассказ в дневнике А. В. Никитенко от 8 октября того же года. О самоубийстве Калмыкова, также

\* Господствовать умом над умами, сердцем над сердцами.

члена университетского кружка Никитенко, упоминается в позднейших неопубликованных письмах Печерина к Чижову.

<sup>7</sup> По окончании университета Чижов завершал свое образование под руководством известного математика Остроградского, с 1832 по 1840 г. читал лекции в университете, с августа 1833 г. пользовался в течение трех лет ежегодным пособием по 1500 руб. В 1832 г. предполагалась его заграничная командировка для завершения образования. В 1836 и 1837 гг. были напечатаны его научные труды по теории равновесия и о паровых машинах.

<sup>8</sup> Чижов говорит это не искренне. Среди слов этого предложения несколько тщательно зачеркнутых строк, которые не представляется возможным разобрать, говорящих о том, что он очень колебался, когда писал это место. Особенно заметно в его дневнике увлечение социально-утопическим мессианством в духе Ламенэ. Иногда эти мысли перерастали у него в идею личного призвания. Так, напр., он писал: «Кто знает — может быть, судьбою предназначено мне быть Апостолом веры всеобщей, веры Единого Мироправителя — Единой святой природы, и смею ли я сбросить с себя высокое назначение?» (Дневник 1836 г., 28 марта, лл. 16—16 об.).

<sup>9</sup> См. ниже, примечания 13—17.

<sup>10</sup> Печерин Сергей Пантелеймонович (1781—1866), офицер, обрисованный в мемуарах В. С. Печерина чертами грубого, невежественного деспота.

<sup>11</sup> Печерина Пелагея Петровна (ум. в 1858 г.).

<sup>12</sup> Чижов участвовал в «Библиотеке для чтения», в «Сыне отечества» и в «Журнале министерства народного просвещения» и перевел с английского «Историю европейской литературы» Галлама.

<sup>13</sup> Гебгардт Иван Карлович, приятель А. В. Никитенко, постоянный участник его литературного кружка.

<sup>14</sup> Иноземец Федор Иванович (1802—1869), профессор хирургии в Московском университете. В 1833—35 гг. он был одновременно с Печериным в заграничной командировке и сблизился с ним в Москве в 1835—36 гг.

<sup>15</sup> Редкин Петр Григорьевич (1808—1891), профессор юридического факультета Московского университета. Он сблизился с Печериным во время заграничной командировки и особенно в дни совместного путешествия по Швейцарии и Италии в 1833 г.

<sup>16</sup> Крюков Дмитрий Львович (1809—1845), профессор римской литературы в Московском университете. Он был одновременно с Печериным в заграничной командировке в 1833—35 гг.

<sup>17</sup> Баршев Сергей Иванович (1808—1882), профессор юридического факультета Московского университета, одновременно с Печериным бывший в заграничной командировке и вместе с ним путешествовавший по Швейцарии и Италии в 1833 г.

<sup>18</sup> В. С. Печерин. Этим именем он назвал героя своей поэмы, который был литературным выражением личности автора.

<sup>19</sup> В «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара была напечатана статья Печерина об археологии, за которую ему следовало получить деньги.